

DOI: 10.31857/S032103910004517-1

АРИСТОТЕЛЬ. Метафизика. Перевод с древнегреческого, вступительная статья и комментарий А.В. Маркова. М.: РИПОЛ классик, 2018. 384 с.

«Метафизика» Аристотеля, без сомнения, принадлежит к тем исключительно важным и одновременно исключительно трудным философским памятникам, к которым исследователь, не говоря уж о заинтересованном читателе, обращается с почти равным трепетом. Однако если читатель, даже вооружившись одним из переводов, признанных образцовыми, всего лишь рискует заблудиться в аристотелевских пассажах, так и не добравшись до философского содержания, то издатель и переводчик не без оснований опасается быть погребенным под многовековой громадой посвященной Аристотелю литературы: от античных, средневековых и ренессансных комментариев до современных интерпретаций, исследований, новейших критических изданий и прочая, и прочая.

Легко представить, какой колоссальный труд берет на себя переводчик, взявшийся за это произведение, какой исключительной философской и филологической эрудицией он должен обладать.

Нового перевода «Метафизики» российский читатель ждал давно, ведь в отличие от немцев, англичан или французов, имеющих в своем распоряжении Бонитца, Шварца, Слезака, Росса, Треденника, Трико, Сишера и многих других¹, мы до сих пор вынуждены пользоваться двумя устаревшими переводами Кубицкого² и Перова-Розанова³, изобилующими ошибками и неточностями, а в случае с Розановым еще и неполным⁴.

В идеале помимо нового перевода хорошо было бы иметь даже три новых русских издания (!) «Метафизики» (впрочем, как и всех остальных трактатов Аристотеля). Одно — рассчитанное на специалистов, антиковедов, историков философии, другое — скорее учебного и пропедевтического характера, третье — обращенное к просто любознательному читателю. Разумеется, между этими жанрами не всегда можно провести отчетливую границу: нередко так называемые издания «для широкого круга» имеют большую научную ценность. Таковы, например, знаменитые «Фрагменты досократиков» Германа Дильса, которые первоначально задумывались как пособие для студента, но стали, благодаря усилиям Вальтера Кранца, впоследствии стандартным научным изданием.

Естественно, первый вопрос, который ставит перед собой читатель, приступив к изучению нового перевода «Метафизики», выполненного доктором филологических наук, профессором Александром Викторовичем Марковым (далее — АВМ), к какому из этих жанров его издание следует отнести. Проще говоря, рассчитан он на читателя, искушенного в греческом

¹ Bonitz 1890; Schwarz 1970; Szlezák 2003; Ross 1953; Tredennick 1933–1935; Tricot 1953; Sic'hère 2007–2010. И это далеко не исчерпывающий список даже полных переводов «Метафизики» на основные европейские языки. Переводов отдельных книг, разумеется, еще больше.

² Аристотель. *Метафизика*. Пер. и прим. А.В. Кубицкого. М.—Л., 1934.

³ Аристотель. *Метафизика*. Книги I–V. Пер. с греч. П.Д. Перова и В.В. Розанова. СПб, 1895.

⁴ Несмотря на то что в 1975 г. он бы переиздан в существенно скорректированном виде, перевод Кубицкого по-прежнему нуждается в серьезных уточнениях и исправлениях с учетом научной литературы последних лет и новых критических изданий. То же касается неполных переводов Лосева (Лосев, А.Ф. *Критика платонизма у Аристотеля (Перевод и комментарий XIII и XIV книги «Метафизики» Аристотеля)*. М., 1929) и Розанова.

языке и/или истории философии, или на более широкую публику, просто интересующуюся античностью и первыми памятниками европейской философской мысли?

Формальным признаком здесь является аппарат, которым снабжен перевод. Он может быть академическим, учебным или рассчитанным на непрофессионала. Последнему трудно обойтись без вводного очерка, справочника основных терминов и понятий и прочих полезных инструментов. В данной книге присутствует лишь один из них — так называемый «Словарь», причем если судить по этому весьма краткому (всего 56 пунктов) глоссарию, адресован он читателю, скорее только начинающему знакомиться с античной литературой и культурой. Иначе как понять присутствие в небольшом списке такого, например, пояснения: «Гектор — герой, персонаж “Илиады” Гомера, сторона троянцев (sic!)» (с. 379), если не исходить из того, что книга, по всей видимости, рассчитана на весьма странную «массовую аудиторию», мало знакомую даже с произведениями Гомера, но взявшуюся при этом за труды Аристотеля.

Однако кажется, что большинство предлагаемых АВМ глосс способны вызвать у подобного читателя лишь недоумение. К примеру, назначив Протагора «вождем софистов», автор не считает нужным объяснить, кто они такие. Остается надеяться, что автор не считает античных софистов своего рода племенем или политической партией, которым без вождя никак не обойтись. Ведь всякому, кто хотя бы поверхностно знаком с историей античной философии, хорошо известно, что софистами в V в. до н.э. называли странствующих интеллектуалов, обучавших желающих самым разным предметам — от риторики и этики до истории и естествознания. Софисты никогда не были ни школой, ни интеллектуальным кружком, ни даже единым интеллектуальным течением, поэтому назначать им в лидеры Протагора или вообще кого бы то ни было нет никакого смысла.

О великом греческом мыслителе Пармениде на с. 381 говорится только, что он «создатель Элейской философской школы», при этом ни о самой школе, ни о его учении нет ни слова. Меж тем читатель, не имеющий хотя бы начального представления об элейской философии, никогда не сможет разобраться в таких важнейших понятиях аристотелевской онтологии, как «действительность» (акт) и «возможность» (потенция) или «материя» и «форма». Мало помогут ему и несомненно любопытные, но в данном случае совершенно нерелевантные сведения об интимных отношениях Зенона и Парменида или о не слишком удачно сложившейся военной карьере Мелисса (с. 380).

Проще говоря, в данном глоссарии есть то, что не нужно, и нет того, что необходимо. Вообще, сами принципы отбора материала для пояснения остаются неясными. По преимуществу, это словарь имен, однако непонятно, почему в него включен в качестве «читателя Аполлона»⁵ Симонид Кеосский или Софокл, исчерпывающе охарактеризованный как «великий трагик», а, скажем, также упоминаемый в «Метафизике» Гесиод не заслужил никакой, хотя бы столь же «информативной» характеристики.

Еще более загадочно различие «условных» и «полуусловных» имен: к первым отнесен, например, Каллий, имя которого «можно перевести как Красав», ко вторым — Кориск, про которого «предполагают, что это был один из учеников Платона» (с. 380). Хорошо известно, что античные авторы использовали в приводимых ими примерах силлогизмов и прочих типов высказывания имена реальных лиц (особенно популярен был Сократ), и в этом смысле известный афинский политик и интеллектуал Каллий (персонаж платоновского «Протагора» и «Пира» Ксенофонта) вряд ли более «условен», чем Кориск, про которого можно не предполагать, а утверждать, хотя бы на основании свидетельств Диогена Лаэртского (III. 46) и Страбона (XIII. 1. 54), что он был не только учеником Платона, но и другом и сподвижником Аристотеля.

Наконец, те немногочисленные факты, которые АВМ все же счел необходимым включить в свой комментарий, зачастую оказываются, мягко говоря, весьма спорными. Скажем, о греческом философе Антисфене сообщается, что он «основоположник школы киников, прозван был “безумный Сократ”» (с. 378). Первый тезис на данный момент оспаривается многими исследователями⁶, что же касается второго, то прозвище «Сократ, сошедший с ума» носил вовсе не Антисфен, а Диоген Киник, в чем всякий читатель легко может убедиться, открыв «Жизнеописания философов» Диогена Лаэртского или любую популярную историю философии.

⁵ Вообще, пояснения АВМ зачастую носят весьма экстравагантный характер. Честно говоря, сообщению типа «Гермотим Клазоменский — философ и прорицатель, будто бы умевший отделять душу от тела» (с. 379) вряд ли место даже в самой что ни на есть популярной литературе.

⁶ Ср. Dudley 1937, 2–4; Navia 1996.

Иными словами, заключающий издание «Словарь» вроде бы заставляет предположить, что оно адресовано читателю, не особенно сведущему в античной философии, словесности и истории, но при этом, даже при своей исключительной краткости, глоссарий способен подобного адресата еще более запутать или попросту ввести в заблуждение. Но, разумеется, главным содержанием рецензируемой книги является собственно перевод, к которому мы сейчас и обратимся.

Его предвдваряет краткое вступительного слово (с. 5–13), из которого мы узнаем, в частности, что «теоретической основой работы» стал «Европейский словарь философий: словарь непереводамостей», собравший лучшие силы Франции для работы над тем, чтобы философские термины сами раскрывали свои смыслы» (с. 9), но, к сожалению, не получаем ясного представления о том, в чем автор видел свою собственную переводческую задачу.

На вопрос, чем именно его перевод отличается от переводов предшественников, он отвечает весьма расплывчато: «Старый перевод “Метафизики”, выполненный А.В. Кубицким и вышедший в 1934 г., неудовлетворителен в наши дни, просто потому что в нем не видно разговора с учащимся. Кубицкий переводил как бы связный научный текст; а это именно лекция... Вряд ли после Мандельштама и Пастернака, Платонова и Набокова, можно терпеть перевод Кубицкого, не понимая, что любой учитель любого школьного предмета должен говорить так, как говорят после Мандельштама и Платонова» (с. 7–8).

Не вполне понятна суть претензий автора к А.В. Кубицкому. Если «Метафизика», по его мнению, — это «что-то вроде учебника Лифшица-Ландау», «больше собрание наглядных пособий, карт и контурных карт» (с. 6, 8) и многое в ее содержании «сейчас было бы законнее представить в виде схем, таблиц, диаграмм» (с. 7–8), то с какой стати эти «диаграммы» и «карты» должны изъясняться языком Мандельштама и Платонова?

Во всяком случае, он ни слова не говорит о том, насколько верно, с его точки зрения, Кубицкий и другие переводчики передают, собственно, аристотелевскую мысль, как они интерпретируют отдельные места в греческом тексте, не допускают ли при этом смысловых ошибок и неточностей и т.д., хотя, казалось бы, именно эти вопросы более всего должны заботить интерпретатора.

Как кажется, некоторое представление о сути авторского замысла дает замечание на с. 11: «современная постструктуралистская деконструкция, которой я следую» показала, «как воссоздав Аристотеля-лектора, можно придать развитию мысли особую новизну, возобновив сам инструментарий философского рассмотрения». Иными словами, в своем переводе автор стремился передать некий особый «лекционный» тон, который, как ему представляется, характерен для Аристотеля и который ускользнул от других переводчиков.

Не будем даже спорить сейчас о том, насколько это суждение об аристотелевском стиле обосновано. Тем более что, помимо высоких целей «постструктуралистской реконструкции» и «воссоздания Аристотеля-лектора», автор, надеемся, преследовал и более приземленные — насколько возможно точно понять и передать текст греческого оригинала. Тут, к несчастью, уже на первой странице читателя ждет разочарование. Знаменитая вступительная фраза «Метафизики» в переводе АВМ выглядит так: «Все люди от природы охотники до знания. Примета этого — чувственное восхищение» (с. 17; 980a21. Πάντες ἀνθρώποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει. σπμεῖον δ' ἡ τῶν αἰσθησέων ἡγάλησις).

Такое впечатление, что при переводе αἰσθησέων ἡγάλησις автор перепутал две греческие грамматические конструкции — родительный падеж объекта и родительный субъекта. Нет никаких сомнений, что ἡγάλησις αἰσθησέων у Аристотеля может означать только «любовь к чувствам» (Genetivus obiectivus)⁷. Именно удовольствие, которое мы получаем от самого процесса чувственного восприятия, служит у него доказательством заложенного в нас природой стремления к знанию. Однако русское словосочетание «чувственное восхищение» может означать только «восхищение самих чувств» или «восхищение посредством чувств», т.е. Genetivus subjectivus⁸. Иначе говоря, у Маркова доказательством человеческой тяги к знаниям становится некий переживаемый нами «чувственный восторг», что не только лишено смысла и невозможно грамматически (нам не удалось найти ни одного примера в *TLG*, где

⁷ В переводе Треденника — “our esteem for the senses”; в переводе Джо Сакса (Sachs 1999) — “love of the senses”; у Росса — “delight we take in our senses”.

⁸ Во всяком случае, именно так оно используется в единственном обнаруженном нами примере его философского узуса — отрывке из русского перевода «Суммы теологии» Фомы Аквинского С.И. Еремеева (IV. 11. 13): «Чувственное восхищение принадлежит чувству, которое восхищается своим объектом».

конструкция ἀγάλησις + Gen. могла бы быть истолкована как генитив субъекта!), но и противоречит всему дальнейшему аристотелевскому рассуждению. Неясно также, почему автор переводит греческое ἀγάλησις, означающее «любовь» ('affection', согласно *LSJ*), как «восхищение».

Увы, подобного рода нарушений базовых греческих грамматических, синтаксических и семантических правил в данном переводе необозримое множество. При этом особенно удивляет то обстоятельство, что автор часто искажает смысл оригинала не только в спорных и сложных случаях, где это было бы отчасти простительно, но и в самых безобидных фразах.

Так, на с. 20 мы читаем: «Таков список качественных предположений о мудрости и мудрецах» (982a20: τὰς μὲν οὖν ὑπολήψεις τοιαύτας καὶ τοσαύτας ἔχομεν περὶ τῆς σοφίας καὶ τῶν σοφῶν). Данное утверждение заставляет предположить, что у Аристотеля были об этих предметах еще и некие «количественные предположения». На самом же деле фраза буквально означает: «У нас есть такие мнения (τοιαύτας) о мудрецах и мудрости, и этих мнений столько (τοσαύτας)». Выходит, что автор здесь как бы дважды перевел указательное местоимение τοιαύτας — «таков» и «качественных», а второе, как раз «количественное» (τοσαύτας), не перевел вовсе, чем внес в совершенно невинный текст отсутствующий в нем смысл. «Качественные предположения» взялись у АВМ, видимо, от того, что в русских грамматиках τοιοῦτος часто переводят как «такой по качеству». Однако самая обычная функция этого местоимения в греческой прозе — указывать на ранее названный предмет, и никакого специального значения, вроде «качественный», оно не имеет.

Нас, пожалуй, могут упрекнуть в излишнем педантизме (поскольку пока мы говорили о вещах, рассматриваемых в начальном курсе древнегреческого языка), но такие «мелкие» ошибки у АВМ регулярно сопровождаются более серьезными. Так, к примеру, на с. 31 мы читаем: «Итак, преуспевшие в логике мудрецы завещали нам вот что сказанным. Первые говорили, что начало — телесно, что вода, огонь и такого качества вещи — тела. Некоторые говорили, что телесное начало — одно, некоторые — что много. Но и те, и другие предполагали начала материального вида. Некоторые предполагали как раз и вид как причину, а некоторые — и ту, откуда движение; и для некоторых была одна причина, а для некоторых — две» (987a2—987a9: ἐκ μὲν οὖν τῶν εἰρημένων καὶ παρὰ τῶν συνηδρευκόντων ἤδη τῇ λόγῳ σοφῶν ταῦτα παρελήφαμεν, παρὰ μὲν τῶν πρώτων σωματικὴν τε τὴν ἀρχὴν (ῥῆμα γὰρ καὶ πῦρ καὶ τὰ τοιαῦτα σώματα ἔστιν), καὶ τῶν μὲν μίαν τῶν δὲ πλείους τὰς ἀρχὰς τὰς σωματικὰς, ἀμφοτέρων μὲντοι ταύτας ὥς ἐν ὕλης εἶδει τιθέντων, παρὰ δὲ τινὼς ταύτην τε τὴν αἰτίαν τιθέντων καὶ πρὸς ταύτῃ τὴν ὅθεν ἡ κίνησις, καὶ ταύτην παρὰ τῶν μίαν παρὰ τῶν δὲ δύο).

Этот знаменитый и, действительно, достаточно трудный пассаж представляет собой миниатюрный очерк истории раннегреческой философии — кратчайший итог того, что было сказано в предыдущих главах о философах-досократиках. Аристотель говорит здесь, что древние философы, ионийские физики и атомисты, предвосхитили его понятие о материальном начале, а у некоторых из них, Анаксагора и Эмпедокла, к нему добавилось еще и начало движущее. Все это, однако, никак нельзя заключить из русского текста АВМ.

Начнем с того, что он вновь переводит τοιοῦτος как «такого качества», что не только неверно (τὰ τοιαῦτα — это идиоматическое выражение, означающее просто «и тому подобное»), но и вносит в текст совершенно лишнюю путаницу. Читая фразу «вода, огонь и такого качества вещи», невольно думаешь, что речь идет о каких-то вещах, обладающих качествами воды и огня, хотя на самом же деле Аристотель просто хотел сказать: «огонь, вода и тому подобное». Впрочем, надуманное толкование τὰ τοιαῦτα не самая большая беда, постигшая этот отрывок.

Во-первых, в нем неведомо откуда взялись «преуспевшие в логике мудрецы». Именно так автор трактует выражение συνηδρευκόντες τῇ λόγῳ. Греческий глагол συνεδρεῖν, однако, означает «вместе заседать в совете» или «держат совет», но никак не «преуспевать в чем-либо». Если бы автор обратился даже не к специализированным комментариям, а просто к словарю Лидделла, Скотта и Джонса, то обнаружил бы, что выражение συνηδρευκόντες τῇ λόγῳ следует понимать как «те, кто вместе с нами уже держал совет по этому вопросу»⁹. Во-вторых, эти мудрецы не только не «преуспели в логике» (слово λόγος вообще не имеет такого значения), но даже ничего, по не совсем удачному выражению автора, не «завещали нам сказанным». На самом деле структура этой трудной фразы такова: *из сказанного выше (ἐκ τῶν εἰρημένων) и от тех мудрецов, которые уже занимались этим вопросом, мы получили вот что*.

Дальнейший перевод АВМ столь же ошибочен. За «первыми мудрецами» без всякой внутренней связи следуют какие-то невнятные «некоторые», хотя на самом деле конструкция

⁹ Ср., например, перевод Росса "the wise men who have now sat in council with us" или Треденника "thinkers who have already debated this question".

τῶν μὲν... τῶν δὲ имеет совершенно конкретный смысл: *из первых философов одни¹⁰ считали, что материальное начало — одно, другие¹¹ — что их больше.*

Затем в тексте и вовсе происходит нечто странное: греческая фраза «παρὰ δὲ τινῶν ταύτην τε τὴν αἰτίαν τιθέντων καὶ πρὸς ταύτῃ τὴν ὄθεν ἢ κίνησις, καὶ ταύτην παρὰ τῶν μὲν μίαν παρὰ τῶν δὲ δύο» получает следующее экстравагантное толкование: «Некоторые предполагали как раз и вид как причину, а некоторые — и ту, откуда движение». В данном случае мы даже затрудняемся понять, как автор смог извлечь такой перевод из имеющегося у нас греческого текста. У Аристотеля буквально сказано: [ταῦτα παρελήφαμεν] παρὰ δὲ τινῶν — и от некоторых других таύτην τε τὴν αἰτίαν τιθέντων — признающих вот эту причину, καὶ πρὸς ταύτῃ — и в добавок к ней τὴν ὄθεν ἢ κίνησις — ту, откуда движение καὶ ταύτην — и эту причину παρὰ τῶν μὲν — от одних [мы получили], что она — одна παρὰ τῶν δὲ δύο — от других, что их — две. Иными словами, *некоторые мыслители, кроме материального начала, признают еще и движущее, причем одни, что оно одно-единственное, а другие — что их два.*

Одним словом, перевод АВМ «некоторые предполагали как раз и вид как причину» не только грамматически и синтаксически невозможен — дательный падеж εἶδει никоим образом не может относиться к τιθέντων, — он полностью разрушает всю аристотелевскую историко-философскую схему. У Аристотеля сказано, что древние философы предвосхитили материальную и движущую причину, а у АВМ выходит, что еще и формальную (!): только так можно понять «полагали вид как причину». Но к пифагорейцам, у которых впервые наметилось это понятие, Аристотель переходит не ранее, чем в следующем параграфе — 987a13. Таким образом, разрушив грамматическую структуру текста, АВМ вместе с ней уничтожил и логику авторского повествования.

Вообще ранним греческим философам и другим предшественникам Аристотеля незаслуженно досталось от переводчика. К примеру, об Антисфене и его последователях на с. 209 сказано, что они, как и «другие малообразованные люди, зашли в тупик и тупят». Смелое решение автора использовать в этом месте глагол «тупить», вероятно, объясняется его стремлением создать тот самый эффект «разговора с читателем», которого, по его мнению, так не хватает другим переводчикам. Однако вести его на языке школьных жаргонизмов, на наш взгляд, несколько неуместно. По-видимому, автор счел нужным таким образом передать содержащуюся в греческом тексте figura etymologica ἀπορίαν ἢ λόρον, т.е. букв. «затруднялись, поппав в затруднение».

Но, во-первых, используемое автором настоящее время, вместо присутствующего в оригинале прошедшего, создает у читателя ложное впечатление, будто Антисфен и его ученики — современники Аристотеля и его слушателей. Во-вторых, что еще важнее, глагол «тупить», к слову, отсутствующий в русском литературном языке в используемом АВМ значении, означает букв. «действовать неэффективно, плохо, бестолково» или «находиться в утомленном, заторможенном состоянии»¹². Аристотелевский же текст не только не имеет подобных экстравагантных стилистических оттенков, но и прямо говорит: Антисфен и его последователи, равно как и другие необразованные люди, не могли справиться с этой проблемой. Однако ни о какой их специальной «тупости» речи не идет (ἀπορίαν ἀπορεῖν — стершееся выражение), более того, Аристотель даже оговаривает, что для этого затруднения имеются достаточные основания, так что АВМ в очередной раз не только совершает неоправданное стилистическое вторжение в греческий текст, но и искажает его смысл.

Однако, пожалуй, из всех досократиков хуже всех пришлось Ксенофану и Мелиссу, которым АВМ на с. 31 грозит совершенно в духе аттических комедиографов: «Эти философы, как мы уже сказали, будут опущены в нынешнем исследовании; из них двое совершенно опущены, Ксенофан и Мелис, потому что они, как только что из деревни».

Подобные то ли осознанные, то ли спонтанные, лексические курьезы (разумеется, в тексте Аристотеля речь идет о ненужности упоминания мнения этих философов в данном исследовании, поскольку они «несколько необразованны» — μικρὸν ἄγροικότεροι) могут скорее позабавить — если бы их не было так много. Надо сказать, стремление к «прояснению» этимологического смысла греческих слов (как выше, в случае с «тупиком», или здесь, где «деревня» соответствует ἀγροικότεροι), служит переводчику дурную службу: например, стремясь

¹⁰ Т.е. материальные монисты — Фалес, Анаксимен, Гераклит и др.

¹¹ Т.е. атомисты — Левкипп и Демокрит.

¹² Ср. пример из Национального корпуса русского языка: «Все, можно сидеть и наблюдать из окна, как тачки и люди сперва тупят у границы, а потом лезут по газонам».

найти правильный эквивалент греч. θεολόγοι, АВМ спокойно превращает их в «богословов», и в итоге мы получаем «Окружение Гесиода, все эти богословы» (с. 71), что для неискушенного русского читателя делает автора «Теогонии» эдаким средневековым монахом-теологом. К слову сказать, в греческом тексте (οἱ μὲν οὖν περὶ Ἡσίοδον καὶ πάντες ὅσοι θεολόγοι) «последователи Гесиода» и «все, кто писал о божественном», разделены; под вторыми, по всей видимости, имеются в виду ранние философы, занимавшиеся космологией, которые никак не могли составлять «окружение Гесиода».

Однако подобные буквализмы могут быть огорчительны (или смешны), но не так опасны, как те многочисленные случаи, когда переводчик просто придает греческому тексту иной, иногда прямо обратный, смысл. К примеру, на с. 75 о Зеноне Элейском говорится: «Но так как Зенон теоретизирует насильственно и допускает какую-то неделимость, приходится все время его извинять» (1001b14 ἀλλ' ἐπειδὴ οὗτος [sc. Ζήνων] θεωρεῖ φортικῶς, καὶ ἐνδέχεται εἶναι ἀδιαίρετόν τι ὥστε [καὶ οὕτως] καὶ πρὸς ἐκείνων τιν' ἀπολογίαν εἶναι).

Во-первых, мы не понимаем, как можно «насильственно теоретизировать». Автор, надеясь, все же не имел в виду знаменитый биографический анекдот, согласно которому Зенона жестоко пытали на допросе; тем более, что «теоретизировать» тиран Непарх его, как кажется, не заставлял. Оставив в стороне вопросы стиля, заметим, что наречие φортικῶς никак не может означать «насильственно». Оно происходит от прилагательного φортиκός («тяжелый», «грубый», «низкий», «вульгарный»), а то, в свою очередь, от φόρτος («груз») и находится, таким образом, в совершенно ином семантическом поле. Аристотель просто хочет сказать, что Зенон рассуждает грубо и примитивно, но «все время извинять» его за это не стоит, ибо существительное ἀπολογία (собств. «речь в защиту подсудимого») в греческом языке никогда не означает «извинение»; АВМ, должно быть, путает его с английским словом apology.

Помимо семантических, автор допускает здесь и синтаксическую ошибку: так, явно безличную форму ἐνδέχεται он считает сказуемым при подлежащем «Зенон». Эта, казалось бы, небольшая оплошность имеет далеко идущие и весьма неприятные для Зенона философские последствия. Дело в том, что в этой главе Аристотель как раз обсуждает аргументы Зенона *против* пифагорейцев и их представления о неделимых точках; а в переводе АВМ он вдруг ни с того ни с сего становится на их сторону и сам принимает некое «неделимое». На самом же деле ἐνδέχεται с Accusativus cum infinitivo означает буквально: «возможно, чтобы нечто было неделимым таким образом, что оно смогло бы защититься от него (Зенона)». Иначе говоря, *нечто может быть неделимым таким образом, что аргументы Зенона будут бессильны против него*.

О других ранних греческих мыслителях АВМ говорит в столь же пренебрежительном тоне. На с. 321 мы читаем: «Как-то все философы говорят о противоположностях, но не торопятся ввести противоположности, пока кто-то на них не повлияет» (1075b12 πάντες δ' οἱ τάναντία λέγοντες οὐ χρώνται τοῖς ἐναντίοις, ἐὰν μὴ ῥυθμίῃ τις). Начнем с того, что πάντες δ' οἱ τάναντία λέγοντες никак не может означать «все философы говорят о противоположностях». Данная конструкция в греческом языке не допускает никакого иного толкования, кроме «все, кто говорит о противоположностях». Наречие «как-то» и вовсе является авторским измышлением — в тексте Аристотеля ничего подобного нет. Непонятно также, как можно «не торопиться ввести противоположности» и куда, по мнению автора, их следовало бы ввести. Нет в оригинале и неизвестно откуда взявшегося «не торопятся», не говоря уж о «ввести», а есть один-единственный глагол χρώνται, буквально значащий «пользуются».

Традиционно этот отрывок понимают как упрек не в адрес абстрактных «всех философов», а конкретно против Эмпедокла (ср. 985a17–23) и Анаксагора (ср. 989a30), упомянутых чуть выше в данном пассаже. По мнению Аристотеля, они верно признавали сам факт наличия противоположных начал, но не знали, как правильно использовать эти принципы, так что их учения нуждаются в систематизации (именно это и означает греч. глагол ῥυθμίζω, но никак не «влиять»). Так что АВМ совершенно напрасно заставляет Аристотеля ополчиться сразу на всех философов, предшественников и современников, и приписывать им какие-то чуждые «влияния» (интересно, чьи?).

Как уже ясно из сказанного (и из многого «опущенного»), предшественникам Аристотеля в переводе АВМ не очень повезло. Обратимся теперь к взглядам самого Аристотеля. Нельзя не заметить, в переводе АВМ они пережили не менее, а, может, и более странные метаморфозы, чем учения досократиков. Например, на с. 150 мы удивленно читаем следующее: «Итак, будем давать определения сути вещей. Одни вещи “торчком”, другие “изгибом”. Различие сразу видно: “торчком” можно быть только на материальном носителе (нос с изгибом стоит торчком), а вот “изгиб” понятен без чувственного материала» (1025b30–1025b34 ἔστι δὲ τῶν ὀριζομένων καὶ τῶν τί ἐστι τὰ μὲν ὡς τὸ σμικρὸν τὰ δ' ὡς τὸ κοῖλον. διαφέρει δὲ ταῦτα ὅτι τὸ μὲν σμικρὸν συνειλημμένον ἐστὶ μετὰ τῆς ὕλης (ἔστι γὰρ

τὸ σιμὸν κοίλῃ ῥίσι), ἡ δὲ κοιλότης ἄνευ ὕλης αἰσθητῆς). Остается только гадать, какой смысл вынесет из данного утверждения современный читатель — как наивный, так и вполне образованный. Думается, и сам Стагирит не смог бы понять фразу «одни вещи “торчком”, другие “изгибом”», — отчасти потому, что никогда ничего подобного не писал.

Напомним, в первой главе шестой книги, откуда взят этот отрывок, Аристотель задается вопросом, какого рода сущности изучает наука физика и какими определениями она оперирует. Физика, по его мнению, рассматривает свои объекты как неразрывно связанные с материей, в отличие от математики, которая исследует свои — как оторванные от нее. Иначе говоря, физика изучает форму и материю как единое целое, а математика, мысленно их разрывая, считает своим объектом только первую из них. Этот тезис Аристотель иллюстрирует с помощью несколько своеобразной метафоры: в физике все дефиниции подобны определениям типа «курносый», где само понятие объединяет в себе форму и материю: курносый — это вогнутый (форма) + нос (материя). Математика, напротив, пользуется определениями типа «вогнутый»: слово «вогнутый» не имплицитно подразумевает никакую конкретную материю.

Возвращаясь к переводу, АВМ не только произвольно добавляет в свой текст не существующие в оригинале фразы — ни «будем давать определение сути вещей», ни «различие сразу видно», ни «понятым без чувственного материала» в греческом тексте нет, — но, что куда важнее, калечит аристотелевскую мысль. Слово «курносый» было выбрано Аристотелем неслучайно — это остроумный наглядный символ единения материи и формы. Заменяв его наречием «торчком» (к слову, прилагательное *σιμὸς*, строго говоря, вообще не имеет такого значения), автор не просто уничтожил важную для Аристотеля метафору, он стер ключевое для философа различие между определениями, включающими материю, и определениями, ее исключающими. «Торчащий», т.е. стоящий вертикально, не подразумевает никакого, выражаясь словами автора, «материального носителя», и в этом смысле ничем не отличается от «вогнутого». Таким образом у АВМ мысль Аристотеля фактически сводится к тому, что одни вещи торчат, а другие — изогнуты, и в этом каким-то непостижимым образом заключается их «суть». Думается, даже Сократ из аристофановских «Облаков» счел бы подобное философствование ниже своего достоинства.

Не менее своеобразно автор трактует знаменитое учение Стагирита о действительности (акте, греч. *ἐνέργεια*) и возможности (потенции, греч. *δύναμις*). К примеру, в первой главе девятой книги Аристотель вводит представление о деятельной и страдательной возможности и замечает, что в одном смысле эти *δύναμεις* едины¹³, а в другом — различны. В переводе АВМ этому соответствует следующий тезис (с. 220): «Очевидно, что и действовать, и страдать — одна динамика... Но в этой одной динамике есть и различие». Не будем придирааться к тому, что транслитерация греч. *δύναμις* как «динамики» столь же запутывает русского читателя, как и приведенные выше кальки и буквализмы, или к тому, что «различие в динамике» не совсем соответствует идее Аристотеля о том, что, с одной стороны, понятие «возможности» едино, а с другой — различно.

Гораздо хуже обстоит дело дальше, когда АВМ приступает к описанию сути этого различия, рисуя весьма драматическую картину: «Ведь когда вещь страдает, она страдает не только потому, что есть исток страдания, но и потому что есть материя страдания, и они заражают друг друга страданием: жир воспламеняется, гнушееся ломается и т.д. Равно и поэзия жизни всегда требует субстрата: чтобы что-то обжигало, оно должно воспламениться, и чтобы строить дом, нужен строитель» (1046a22–27: [δύναμις] ἡ μὲν γὰρ ἐν τῷ πάσχοντι (διὰ γὰρ τὸ ἔχειν τινὰ ἀρχήν, καὶ εἶναι καὶ τὴν ὕλην ἀρχήν τινα, πάσχει τὸ πάσχον, καὶ ἄλλο ὑπ' ἄλλου· τὸ λιπαρὸν μὲν γὰρ καυστὸν τὸ δ' ὑπεῖκον ὡδὶ θλαστόν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων), ἡ δ' ἐν τῷ ποιοῦντι, οἷον τὸ θερμὸν καὶ ἡ οἰκοδομική, ἡ μὲν ἐν τῷ θερμαντικῷ ἡ δ' ἐν τῷ οἰκοδομικῷ). Здесь автор вообще весьма вольно обращающийся с аристотелевским текстом, и вовсе ударился в сочинительство. Буквально этот отрывок означает следующее: [деятельная и страдательная возможности различны в том отношении], что одна, т.е. страдательная, находится в претерпевающем (дело в том, что претерпевающее претерпевает, причем одно претерпевает от одного, а другое от другого, потому что в нем есть некое начало [претерпевания], и поскольку даже материя есть некое начало: жирное может быть сожжено, а податливое определенным образом может быть сломано, и так же в других случаях), другая (деятельная) — в действующем: теплота и умение строить заключены одно в том, что может жечь, другое — в строителе.

Остается только гадать, как «действительная возможность, заключенная в действующем», могла превратиться в «поэзию жизни» (sic!), которая к тому же «требует субстрата» («материя»,

¹³ Росс объясняет это с помощью параллели из *De anima* (425 b 25–426 a 30) так, что способность некоего А воздействовать на некое В реализуется как единое событие в В (Ross 1953, 241).

греч. ὕλη, которая с большой натяжкой могла бы претендовать на «субстрат», в этой части фразы не подразумевается). Или почему λάσχει τὸ λάσχον, καὶ ἄλλο ὑπ' ἄλλου (букв. «претерпевающее претерпевает — одно от одного, а другое от другого») обернулось вдруг эпидемиологической метафорой «они заражают друг друга страданием»? К слову, «они» в тексте АВМ синтаксически могут относиться только к «истoku страдания» и «материи страдания». Получается абсурдное утверждение, что одна причина (ἀρχή) претерпевания передает само претерпевание другой (материальной) причине претерпевания; что не только лишено всякого смысла, но и не имеет никакого отношения к Аристотелю, у которого слово «заражать», разумеется, отсутствует, впрочем, как и выдуманное АВМ противопоставление между «истокom страдания» и «материей страдания». Повторимся: Аристотель говорит, что претерпевание имеет некое ἀρχή и этим ἀρχή может быть даже сама материя, — отсюда пример с воспламеняемым жиром.

Кроме того, решительно неясно, как аристотелевская мысль, что страдательная возможность заключена в претерпевающем, а действительная — в деятеле (и этим они различаются), стала у АВМ рассуждением о том, «почему вещи претерпевают» и что действительная возможность «требует субстрата», которым поневоле, в силу построения фразы, оказывается «строитель».

Напоследок вернемся к тому, с чего мы начали, — к соотношению имеющегося перевода и дополняющего его краткого комментария/словаря. Одной из важнейших идей «Метафизики» является соотношение понятий «материи» и «формы», для проявления которого как раз и нужны категории «действительности» и «возможности». В девятой книге Аристотель так формулирует свой главный тезис. Материя (ὕλη) существует «потенциально» (δυνάμει) постольку, поскольку может обрести «форму» (εἶδος), а «форма» возникает тогда, когда материя воплощается в «действительности» (ἐνέργεια): ἔτι ἡ ὕλη ἔστι δυνάμει ὅτι ἔλθοι ἂν εἰς τὸ εἶδος: ὅταν δὲ γένη ἐνέργεια ἥ, τότε ἐν τῷ εἶδει ἐστίν. В переводе АВМ (с. 233) это выглядит так: «Материя таится, пока не приобретет вид. Когда она начинает проявляться на деле, у нее уже есть форма».

Нет нужды говорить, что перевод одного и того же греческого термина сначала «видом», а потом «формой» только затрудняет понимание. Но куда хуже другое: аристотелевская фраза «материя существует потенциально постольку, поскольку может обрести (букв. достигнуть) форму» превратилась (в частности, из-за неверно понятой функции придаточного) у АВМ в «таится, пока не приобретет вид». Как следствие, выходит, что материя где-то прячется (где? как?), пока каким-то образом не обретет форму. Эта безусловно сама по себе интересная мысль напрочь рушит аристотелевское представление о материи как о потенциальной форме. В конце концов, аристотелевская материя — это не какая-то скрытая от нас «вещь в себе»: нечто может быть одновременно и формой чего-то, и материей чего-то другого.

Однако проблемы с переводом данного весьма важного для «Метафизики» рассуждения на этом не заканчиваются. Далее Аристотель, как он это делает часто, иллюстрирует свою мысль на примере вещей, находящихся «в движении». Таковым, например, является знание, движущееся от учителя к ученику. Знание достигает своей законченности (τέλος), когда оно воплощено (т.е. обретает «действительность» и «форму») в имеющем знание ученике. Иначе, говорит Аристотель, было бы неясно, где обретается знание: «внутри или вовне» [ученика], и мы получим результат, подобный некоему «Гермесу, [изображенному] Павсоном» (в оригинале: εἰ γὰρ μὴ οὕτω γίγνεται, ὁ Παύσωνος ἔσται Ἑρμῆς). У АВМ это разъяснение более чем расплывчато: «А иначе знание было бы как Павсонов Гермес: мы поймем, что готово, а что не готово». Совершенно непонятно, что в данном случае понимается под «готовностью»: ведь в греческом тексте ничего подобного нет! Можно разве вспомнить, что в самом начале трактата, где говорится о связи опыта, наук и искусств, переводчик почему-то в качестве варианта именует последние «готовками» (с. 17), хотя греческое слово τέχνη не имеет подобных гастрономических коннотаций.

Тут, кстати, следует заметить, что для АВМ «готовка» как эквивалент «искусства» является осознанным, более того, программным выбором, поскольку в предисловии он приводит именно это слово в качестве одного из примеров своего старания выдерживать чистоту русского языка. «Никаких “усмотрений” и значимостей» в нашем переводе нет — только русские слова!» (с. 8). Честно сказать, «готовки» (особенно во множественном числе) по части «русскости» могут поспорить с «усмотрениями» — по крайней мере в Национальном корпусе русского языка нам удалось отыскать лишь один пример: «готовки этих обедов осточертели» (Михаил Веллер).

Вернемся, однако, к то ли готовому, то ли не готовому Гермесу, к тому же произведенному неким Павсоном. Тут самое время обратиться к глоссарию: но никакого Павсона там не обнаруживается. Зато есть Гермес со следующим, сомнительным с точки зрения греческой религии пояснением: «Гермес (как статуя) — герма, особый бюст, ставившийся при полях и дорогах ради плодородия». Если признать эти сведения обоснованными и релевантными

для перевода, то следует предположить, что, по мнению АВМ, речь идет о какой-то странной, то ли доделанной, то ли недоделанной статуе. Между тем имя Павсона, афинского художника V в. до н.э., очевидно предполагает, что речь идет не о скульптуре, а о живописи. Про Павсона, кроме имени, мы знаем немного; дошло описание его единственной картины: на ней была изображена скачущая лошадь, но если картину перевернуть, эта же лошадь оказывалась валяющейся в пыли (Ael. Var. Hist. 14.15; Lucian. Dem. enc. 24). Не сказать, что эта параллель окончательно проясняет дело: но как считает большинство комментаторов, и здесь может подразумеваться какой-то схожий эффект, когда на картине то, что кажется изображенным «вовне», может оказаться и «внутри». Но уж точно речь не идет о «готовности» и «неготовности».

«Павсонов Гермес» представляется удачным символом для рецензируемой книги в целом. Текст Аристотеля достаточно труден для понимания сам по себе: в силу сложности мысли, специфической аристотелевской стилистики, неясности реалий, в конце концов. Но предложенный перевод способен эти сложности только усугубить. Когда даже ясная мысль затуманивается, а то и обращается в свою противоположность из-за непонимания синтаксической конструкции, а ключевые термины передаются по-разному и зачастую просто неправильно; когда разным греческим философам, включая самого Аристотеля, приписываются мнения, которым они вовсе не следовали, разваливается сама, и так непростая, структура аристотелевского труда. Отсутствие сколь-нибудь внятных разъяснений и присутствие точно не нужных (а зачастую и просто неверных) сведений в немногочисленных комментариях окончательно портят картину. И тут совершенно не спасает заявленное стремление к «оживлению» Аристотеля и возвращению его текста к предполагаемой исходной форме лекций для античного студенчества. Кажется, что, прочитав в данной книге рассуждения, например, о «вещах торчком и изгибом», современные студенты вряд ли увидят в Аристотеле «одного из самых остроумных лекторов за всю историю человечества» (с. 13) и составят весьма превратное мнение о его «интересе к речевому инструментарию» (с. 12). У специалистов и просто тех, кто хоть в какой-то мере знаком с оригиналом, подобные пассажи (лишь малая доля которых была обсуждена в рецензии) могут вызвать лишь недоумение, быстро переходящее в раздражение и нежелание всерьез обсуждать появление подобных изданий. А вот у просто интересующихся недоумение может обернуться насмешкой или полным отторжением, причем адресованными уже не переводу, а самому Аристотелю. Вот автора «Метафизики» от такого восприятия точно хотелось бы избавить, — поэтому жанр нашей рецензии можно определить как «апологию» (в греческом смысле этого слова).

Литература / References

- Bonitz, H. (ed.) 1890: *Aristoteles. Metaphysik*. Berlin.
Dudley, D.R. 1937: *A History of Cynicism from Diogenes to the 6th Century A.D.* Cambridge.
Navia, L.E. 1996: *Classical Cynicism: A Critical Study*. Westport (CT).
Ross, W.D. (ed.) 1953: *Aristotle's Metaphysics*. Oxford.
Sachs, J. (ed.) 1999: *Aristotle's Metaphysics*. Santa Fe (N.M.).
Schwarz, F.F. (Übers./Hrsg.) 1970: *Metaphysik: Schriften zur ersten Philosophie*. Stuttgart.
Sichère, B. (éd.) 2007–2010: *Aristote. La Métaphysique*. Paris.
Szlezák, T.A. (Hrsg.) 2003 *Aristoteles. Metaphysik*. Berlin.
Tredennick, H. (ed.) 1933–1935: *Aristotle. Metaphysics*. 2 vols. Cambridge (MA).
Tricot, J. (éd.) 1953: *Aristote. La Métaphysique*. 2 vols. Paris.

Nikolay P. Grintser,

E-mail: grintser@mail.ru

Elizaveta A. Shcherbakova,

E-mail: shcherbakova-ea@ranepa.ru

Н.П. Гринцер,

д.филол.н., директор ШАГИ РАНХиГС

Е.А. Шербакова,

к.филол.н., доцент ШАГИ РАНХиГС

Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration,
Moscow, Russia

Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
Москва, Россия